

Монахиня Мария (Скобцова)

Что такое церковность

Избранные труды

Оглавление

Настоящее и будущее церкви	2
Что такое церковность	7
Картина мира	9
Христианство (эссе)	16
Аскетизм.....	20

Настоящее и будущее церкви

Доклад, прочитанный в марте 1936 г. в Париже

Каковы бы не были тяжести и муки исторических условий существования Церкви, для православного человека остается неизменным основное обетование о ее судьбе: врата ада не одолеют Ее.

Можно сомневаться в дальнейшем существовании своей родины, можно быть даже уверенным, что ни одно государство, ни один народ, ни одно жизненное устройство не обладает признаками вечности, — только несомненной остается вечность жизни церкви. — врата ада не одолеют ее, она и в дни Второго Пришествия и Страшного Суда будет все той же, в Пятидесятницу основанной церковью. Но это основное упование православного человека не уничтожает всех трудностей и сомнений, связанных с историческим бытием церкви.

Она вечна, но это не значит, что «врата ада» не могут воздвигнуть на нее гонений, исказить ее историческую сущность, заставить ее вновь и вновь уходить в катакомбы, это не значит, что истина ее вечно и победно царит над миром. Мы верим в окончательную победу церкви, но, увы, знаем, что на протяжении церковной истории эта победа ни разу не реализовалась и не будет реализована вполне до конца мира. Реализации всемирной церковной победы мешает, во-первых, наличие злой силы, дьявола, который до конца мира будет вести с ней борьбу, а, во-вторых, мешает то, что церковь, будучи не только божественным, но и человеческим установлением, включает в себя, вместе с входящим в нее человечеством, и все человеческие удобопревертности, немощи, грехи и пороки. Они все время отражаются на церковной жизни, все время мешают ей победно засиять и покорить мир.

На протяжении двухтысячелетнего существования церкви человеческое вмешательство в церковную жизнь искажало ее в двояком направлении. Церковь находилась или в состоянии гонений, или в состоянии покровительства со стороны государства. Теперь вновь наступила полоса гонений, длящихся уже двадцать лет.

Трудно сказать, что для церкви тяжелее, что больше искажает ее лик — гонение или покровительство? Гонения в первую очередь уводят на мученичество и смерть самых верных, самых жертвенных, самых горячих сынов церкви. Они соблазняют слабых, которые начинают отрекаться, изменять, предавать, отпадать. Они уничтожают возможность проповеди и научения, запрещая свободу слова, и этим они выращивают целые поколения в отрыве от евангельской истины. Церковь во время гонения уходит в катакомбы, голос ее престаёт звучать всенародно, внешнее проявление церковной жизни замирает. Таковы бедствия, причиняемые гонениями. Но гонения выявляют нам святость церкви, гонения объединяют ее верных детей, они очищают церковную жизнь от вялости, быта, безразличия, случайности.

Гонения объединяют «малое стадо», делают отбор, производят как бы первые опыты того отбора, который предстоит нам в последние дни.

Покровительство со стороны государства медленно внедряет в церковную жизнь нецерковные понятия, подменяет лик Христов, производит смещение планов. Церковная жизнь постепенно перерождается по типу любого человеческого установления, церковь становится ведомством, компрометируется государственными, подчас языческими идеалами. Эта отравленность церковного организма подчас заходит так далеко, что даже церковные иерархи утверждают, например, оправдываемость смертной казни с точки зрения христианства или неразрывность церкви с монархическим образом правления. Принадлежность к церкви становится обязательной с государственной точки зрения, она широко распространяется, механически включая в свой состав всех

случайных людей, принадлежащих к данному государству. От этого организм ее становится дряблым, неустойчивым, жизнь становится обездушенной, формальной. Христова истина подменяется бесчисленными правилами, канонами, традициями, внешними обрядами. За счет внешнего роста и внешней пышности умалывается внутренняя жизнь и подвиг. Церковный организм костенеет. Таковы опасности государственного покровительства.

Конечно, есть у этого покровительства и положительные результаты, — известная свобода, — правда, в рамках, поставленных государством, — известное внешнее благополучие, мощность внешней организации и т. д. Но во всяком случае можно сказать одно, — и гонение, и покровительство церкви — два бича, которые в течение двух тысячелетий искажали подлинный путь церковной жизни и будут его, наверно, исказить до самого Страшного Суда

В этом смысле мы должны подойти и к оценке современного положения церкви.

В России происходят гонения, которые то увеличиваются, то стихают. Можно даже сказать, что за последнее время они имеют скорее тенденцию стихать. Не это важно. Важно, что современная власть в принципе смотрит на церковь, как на некую часть общегосударственного организма, — и к тому же часть нежелательную. Но если бы она смотрела на нее, как на желательную часть организма, картина не изменилась бы в основном. Власть считает себя вправе декларировать общеобязательное отношение к церкви, власть себя чувствует над нею, сегодня изымает ценности, ссылает в Соловки, казнит иерархов, завтра объявит манифест о помиловании, может быть даже «наградит» чем-нибудь от своих щедрот. В ответ на гонения церковь высылает все новых и новых исповедников и мучеников. Церковь омывается кровью, церковь рождает сонмы святых, больше, чем их было во времена гонения языческих первых веков. Если бы этим все исчерпывалось, то о настоящем положении церкви можно было говорить, ограничиваясь ссылками на ее положение до признания, в первые века. Но сейчас есть одно явление, кажущееся нам чудом, — до такой степени оно первично, небывало на всем протяжении истории. Мы имеем небольшой осколок церкви, оказавшейся в положении, в котором церковь никогда в мире не бывала, — т. е. на свободе, — на свободе от гонений и от государственных подачек. Я говорю о нашей эмигрантской церкви.

Разбросанная по территориям многочисленных государств, не связанная органически со странами, ее приютившими, предоставленная сама себе, не интересующая почти нигде никакую власть, церковь в эмиграции вольна жить, лишь руководствуясь ей самой присущими законами. В этом величайший, всемирно-исторический и даже провиденциальный смысл нашего, на первый взгляд невыносимого и ненормального, положения. С точки зрения духовной жизни это положение может быть единственно нормальное за все время существования церковной истории. Мы свободны, — и это значит, что за все наши неудачи, даже просто за нашу инертность, мы отвечаем сами. Мы (здесь в эмиграции) не можем обвинять власть или окружающую среду, потому что они не гонят нас, не отвращают своим покровительством. Если что-либо у нас плохо, то это оттого, что сами мы плохи.

Любопытно, что даже пребывая в этой свободе, в своей собственной православной среде, мы не изжили до конца психологии той церковности, которая так или иначе связана с взаимоотношением с государством. В нас есть тенденции, ярко выраженные в двух противоположных церковных группировках, отколовшихся от основного русла эмигрантской церкви. Одна из них — «карловацкая», до сих пор не изжила сращенности церкви с покровительствующим ей государством.

Она ярко консервативна, она наиболее цезарепапистична, она оплакивает вдовство церкви. Она блюдет традиции синодального периода, обличает ереси и всякое инакомыслие и мечтает о восстановлении старого порядка вещей, когда государственная власть карала за церковные преступления и предписывала церкви проклинать за преступления государственные.

Другая группировка сконцентрирована около так называемой «патриаршей церкви». Она стремится перенести на почву свободных стран, где она существует, психологию гонения, подполья, некоего подчас истерического экстаза. Она принимает на себя все ограничения свободы, неизбежные под властью гонителей и непонятные, — почти преступные, — там, где эти гонители бессильны. Так, она согласилась отрицать самый факт гонения на церковь в России, потому что утверждать этот факт в России нельзя.

В этом смысле обе эти церковные группировки одинаково несвободны от сращенности с государством, одинаково не понимают великого провиденциального смысла нам данной свободы. Конечно, было бы неправильным слишком увлекаться схемами и видеть всех людей сознательно и точно распределенными по этим группировкам. И у них есть свободные люди, и у нас, основного русла эмигрантской жизни «евлогийской» церкви, связанной сейчас с престолом Вселенского Патриарха, — есть много людей, преданных лишь традиции, рутине, памяти о прошлом и т. д. Но если говорить о тенденциях, об основной исторической судьбе, о смысле этих группировок, то положение именно таково. Вывод из него ясен. Это безмерная ответственность нашей эмигрантской церкви, необходимость действительно осуществить себя в свободе, необходимость не только уберечь те ценности, которые даны ей и которые сейчас в России истребляются всеми мерами гонящей властью, но и восстановить те ценности, которые истреблялись властью благожелательной, потому что ей не соответствовали, а может быть и создать новые ценности — духовной свободы, обращенности к миру, к духовным вопросам, его раздирающим, к культуре, науке, искусству, новому быту.

Если серьезно задуматься о положении эмигрантской нашей церкви, то его можно сравнить с неким сложным процессом, происходящим в человеческом организме, если в нем перерезаны какие-то основные сосуды кровообращения. Кровь все равно стремится вперед и, не имея возможности передвигаться по широким сосудам, находит себе дорогу в сосудах капиллярных. Мы, эмигрантская церковь, и чувствуем себя таким капиллярным сосудом, который должен напрячься до предельной степени, чтобы церковная жизнь, кровь церковной жизни, могла пробиться дальше. Поэтому нам непростительна всякая инертность, всякая духовная лень, пассивное пребывание в атмосфере церковной благодати. Мы должны быть напряжены. Больше того, — мы должны вольно и ответственно принять нашу церковную судьбу как подвиг, как крест, возложенный Богом на наши плечи. На нас лежит ответственность за религиозное свободное творчество русского православия, за православную культуру, за сохранение и преумножение полученного нами наследства.

Надолго ли обречены мы на такое стояние? Каково наше будущее в этой эмигрантской новой церковной традиции, вырастающей в атмосфере единственной, небывалой свободы? Какая возможна ее встреча с русским церковным народом и с русским народом вообще? Трудно и ответственно говорить о будущем. Но некоторые черты его сейчас или уже угадываются, или выводятся логически из современного положения вещей.

Двадцать лет длящееся в России гонение потеряло уже свой внутренний пафос. Безбожники жалуются на то, что их работники не имеют достаточного энтузиазма для борьбы с церковью. В России происходят новые процессы, скорее угадываемые, чем видимые отсюда. Но логика их настолько убедительна, что это угадывание подкрепляется и подтверждается ею. За этот год два последовательных политических процесса окончательно подтвердили то, что уже чувствовалось раньше.

Друзья и сотрудники Ленина, ответственные деятели Октябрьской революции, или казнены, или в опале, или сами отошли от дел. Произошел переворот, сравнивать который надо не с термидором, а с брюмером. С революцией покончено. Ее результаты стабилизируются. Власть в лице Сталина из революционной партийной власти стремится стать властью, поддержанной всенародным

признанием. И чем кровавее и отвратительнее была расправа Сталина со своими вчерашними единомышленниками, тем сильнее необходима ему база широкого народного признания. Такова логика вещей.

Наступает время, а отчасти наступило уже, когда начинается покупка народного признания путем самых разнообразных пощечек и уступок. Такие пощечки будут и по отношению к церкви. Да они в мелочах уже существуют. Мы знаем, что разрешен колокольный звон, а рождественская елка, ранее запрещенная, была на это Рождество почти обязательной. Конечно, елками и колокольным звоном вопрос не будет исчерпан. Можно думать, что вскоре некая мера терпимости станет официальным курсом сталинской церковной политики. Сделать это можно довольно просто. Стоит только объявить, что старые религиозники, связанные с ненавистным режимом, уже уничтожены, что новые кадры верующих людей являются лояльными советскими гражданами, а потому, мол, сейчас и церковь, заполняемая ими, не представляет никакой опасности для советского государства. Если же это так, то пусть она свободно и существует. Конечно, все это предположения, но за них сама логика событий. Можно дальше предположить и довольно быстро растущую волну религиозных увлечений, втягивания в церковные интересы широких слоев русской молодежи, которой сейчас никто не дает никаких приемлемых ответов на основные вопросы мирозерцания. Может быть даже и больше того: можно надеяться на какой-то период расцвета и религиозной мысли, и религиозной жизни, и напряженных исканий.

Но тут всегда один вопрос, обойти который нельзя. Что из себя представляют эти возможные будущие церковные кадры? Точнее, как и в каком духе они воспитаны?

Нам не важно, что основным принципом их воспитания было безбожие. Мы сейчас по отрывкам советских сообщений знаем, что этот принцип сильно выветрился и ничего питательного для вопрошающей человеческой души не дает. Есть такое советское словцо — «переключиться», — так вот, надо думать, что это переключение может произойти довольно широко и безболезненно. Но есть одна страшная вещь, из которой переключиться не так просто. Она касается не материала современного советского мирозерцания, а метода выработки его, диктатура не власти, не силы, а предписание идей, той или иной генеральной линии, вера в легко осуществляемую в жизни непогрешимость. В сущности, это основное, что страшно в современной психологии советского человека. Сегодня он знает, что ему надо думать так, что сам Сталин, сама непогрешимая партия предписывает ему такие-то взгляды на безбожие, на науку, на экономический процесс, на иностранную политику, на испанскую революцию, на частную торговлю, на отношение к браку и семье, на все крупные и мелкие вопросы жизни и быта. И он покорно, по всем пунктам, безоговорочно, целиком принимает все предписанные установки.

Завтра что-то изменилось в мире, как-то соображения целесообразности заставили партию изменить свою точку зрения не только в мелком, но и в кардинальном вопросе. Советский гражданин разворачивает очередной номер «Правды» или «Известий» и констатирует факт. Оказывается, по такому-то вопросу надо думать не так, как он вчера думал, а так, как это предписывается сегодня. А так как основная предпосылка его мирозерцания — это вера в непогрешимость партийной директивы, то он безболезненно перестраивает свое мирозерцание в соответствии с требованием партийного центра. Поражающе в этой области страницы Андрэ Жида, где он описывает недоумение каких-то кавказских коммунистов, как им реагировать на испанскую революцию. Жид не сразу понял, что их смущает. Потом выяснилось: не пришел еще номер «Правды», в котором была изложена обязательная точка зрения. Когда он был получен, ни у кого сомнений не осталось — надо сочувствовать испанской революции всемерно. Дело иногда идет и гораздо дальше: под влиянием меняющихся партийных директив человек начинает каяться во вчерашних своих взглядах, как в

преступлениях, и приносит это покаяние всенародно и с самым предельным самоунижением. Я нарочно останавливаюсь подробно на этой извращенной, несвободной и больной психологии, чтобы подчеркнуть неизбежную стопроцентность, непогрешимость, догматичность всякого советского увлечения, всякой точки зрения, всякого верования. Элемент обязательности, законности, если хотите, некоей «уставности» сопутствует всему, что случается в советской России. Мы не можем найти ни одного очага свободы, ни одной установки иного свойства, мы не можем, другими словами, рассчитывать ни на какую иную психологию, кроме описываемой.

Сделаем из этого выводы, правда, чрезвычайно предположительные.

Если в церковь, одаренную терпимостью и признанием со стороны советской власти, придут новые кадры людей, этой властью воспитанные, то придут они именно с такой психологией. Что это значит? Это значит, что сначала они, в качестве очень жадных и восприимчивых слушателей, будут изучать различные точки зрения, воспринимать проблемы, посещать богослужения и т. д. А в какую-то минуту, почувствовав себя наконец церковными людьми по-настоящему, по полной своей неподготовленности к антиномическому мышлению, они скажут: «Вот по этому вопросу существует несколько мнений — какое из них истинно? Потому что несколько одновременно истинными быть не могут. А если вот такое-то истинное, то остальные подлежат истреблению, как ложные».

Они будут сначала запрашивать Церковь, легко перенося на нее привычный им признак непогрешимости. Но вскоре они станут говорить от имени Церкви, воплощая в себе этот признак непогрешимости. Если в области тягучего и неопределенного марксистского миропонимания они пылают страстью ересемании и уничтожают противников, то в области православного вероучения они будут еще большими истребителями ересей и охранителями ортодоксии. Шаржируя, можно сказать, что за неправильно положенное крестное знамение они будут штрафовать, а за отказ от исповеди ссылать в Соловки. Свободная же мысль будет караться смертной казнью. Тут нельзя иметь никаких иллюзий, — в случае признания Церкви в России и в случае роста ее внешнего успеха она не может рассчитывать ни на какие иные кадры, кроме кадров, воспитанных в некритическом, догматическом духе авторитета.

А это значит — на долгие годы замирание свободы. Это значит — новые Соловки, новые тюрьмы и лагеря для всех, кто отстаивает свободу в церкви. Это значит — новые гонения и новые мученики и исповедники.

Было бы отчего прийти в полное отчаяние, если бы, наряду с такими перспективами, не верить, что подлинная Христова истина всегда связана со свободой, что свобода до Страшного Суда не угаснет окончательно в церкви, что наше небывалое в мире стояние в свободе имеет характер провиденциальный и готовит нас к стойкости и подвигу, как бы вручает нам огромное сокровище и дает силы и бережение его, и, наконец, главное — что бы ни случилось в жизни церковной, — ласкательство ли государства, гонение ли безбожников, искажение ли духа Христовой свободы, — ничего не страшно, потому что врата ада ее не одолеют.

А наш путь, наше признание, наш подвиг и крест — пронести свободную Христову истину через все испытания.

Что такое церковность

Когда мы говорим о типах религиозных людей, мы имеем возможность характеризовать их чрезвычайно многообразно. Одни подходят под характеристику мистиков, другие могут быть отнесены к рационалистам, иные христиане — православные, католики, протестанты, есть среди этих типов верующих и сектанты. Одних можно определить как тип религиозно-философский, другой как бытовой. Но есть ещё одна характеристика — ЦЕРКОВНЫЕ ЛЮДИ.

Каждое из приведённых выше определений нуждается в пояснении. Что под ним подразумевается? Мне бы хотелось в этой статье попытаться проследить, что скрывается под выражением «церковные люди» и каковы особые черты церковного человека.

Если мы посмотрим в словарь Даля, то найдём следующие строки объясняющие слово «церковность»: «Думаю, что далее XIX века не стоит идти в поисках современного смысла этого слова, потому что оно не древнего происхождения. Всего вероятнее, что его родоначальниками были славянофилы и, главным образом поздние славянофилы. Чаше всего оно стало употребляться в связи с лозунгом оцерковления жизни. Предполагалось как бы, что оцерковление жизни имеет своим плодом церковность того, кто на этот путь вступил. Но редко кто из говорящих об оцерковлении жизни, даёт точное определение этого понятия, тем более понятия церковность». Со своей стороны, несмотря на то, что существуют разные взгляды, мне бы хотелось разобрать их и дать собственное толкование церковности.

Что означает: 1. Церковность есть посильное посещение всех церковных служб и знание устава. Это, конечно, совершенно внешнее и формальное определение понятия и вряд ли питательное для религиозного сознания. Думается мне, что такое умонастроение было бы правильнее назвать храмовым благочестием. Тут явно смешивается понятие церковь и храм, а всеобъемлющая Церковь Христова умалется до пределов данного храма и служение Церкви — до пребывания на всех богослужениях этого храма. Первое, что мы должны сделать, это постоянно помнить о достаточно существенной разнице между этими понятиями. Христос говорит: «Созижду Церковь Мою и врата адавы не одолеют Её». И ОН же предрекает разрушение храма Иерусалимского. Из этого примера ясно, в чём тут разница.

2. Церковность есть активное переживание всех событий церковного годового круга. Ведь церковный человек целиком захвачен теми событиями, которые в данный день празднует Церковь. Это и переживание Евангельских событий, двенадесятых праздников, или память известного святого, или мало известного святого и т. д. Человек, активно живущий церковной жизнью начинает жить как бы двойной жизнью. С одной стороны, его существование проходит в сегодняшнем мире, где каждый день полон своих событий: люди умирают, рождаются, страдают, радуются, грешат, каются, а, с другой стороны, человек живёт годовым богослужебным кругом. Он наполнен совсем другими событиями. И поэтому церковный человек должен всё больше и больше переключать дух свой, свои чувства, свои переживания в этот мир церковных событий, всё больше и больше сравнивая этот мир с миром окружающей его «обычной» жизни.

Кстати, такое положение (или точку зрения) церковности критиковать не трудно. Вряд ли она реально представлена кем-либо и вряд ли можно искренне говорить, что всякий молящийся может искренне и глубоко переживать память каждого святого с такой же интенсивностью и эмоциональностью, как радость или горе ближнего их смерть или рождение. Можно говорить о правильности такой точки зрения при одном допущении, что Христова Церковь когда-то существовала и кончилась, что она не живёт вечной жизнью, что Она не осуществляется повсюду в современном мире и даже в нас самих. Действительно, если не сделать такого чудовищного допущения, то не будет понятно, отчего мы должны любить образ Божий и давно ушедших из этой жизни угодников, а не образ Божий в том человеке, который стоит рядом. И более того, будет не

понятно, отчего Крест, подымаемый на плечи в IV или IX в. в., должен вызывать в нас больше волнения, чем Крест, подымаемый сегодня, рядом с нами? Но Христова Церковь живёт и осуществляет себя всюду, как в прошлом, так и в настоящем и в будущем! И вечно воплощается Истина Евангелия, вечно рождается Христос, вечно распинается, вечно воскресает и возносится.

Безусловно, что церковные богослужения говорят нам наглядно обо всём этом, но они не исчерпывают осуществления Божией правды в мире, и человек, во имя церковности, не смеет закрывать глаза на эту правду и видеть её только в богослужебном круге.

3. Третье определение церковности связывает её с таинственной стороной жизни Церкви, с участием христиан в церковных таинствах. Здесь нужно отметить важность приготовления к Евхаристии. Невозможно возразить по существу против решающего значения стоящего за Таинством Евхаристии для души молящегося. Но необходимо уточнить, что Таинство Евхаристии есть Богочеловеческое Таинство. Духом Святым преосуществляются Дары, принесённые человечеством, подобно тому как наитием Духа Святого на Деву Марию Бог воплотился в человеческом теле. Сын Божий стал сыном Давидовым. Верующий человек к этому таинству Боговоплощения в Евхаристии готовит не только хлеб и вино, но и своё тело и свою душу. Во время причащения человек принимает Бога в себя и как бы воплощает в себе Бога. И в этот момент высшей церковной жизни человека от него требуется не только механическое следование за тем, что происходит в Церкви, но и обязательное соединение и принадлежность к Его миру, к Его страданию, подвигу и Его Кресту. Молящийся в себе приносит этот мир для соединения его с Богом. В этом таинстве Церковь требует от молящегося всей его человеческой активности, всего его человеческого служения, которое он приносит к Чаше и освящает. И поэтому можно сделать вывод, что неправильно будет утверждать, что церковность это простое участие в таинственной жизни Церкви. Нет, участие в таинственной стороне жизни Церкви предполагает вечное стремление к полноте Боговоплощения и к тому, чтобы весь мир стал достойным этого Боговоплощения.

4. Церковность это есть понимание вселенского соборного значения дела Христова! Здесь я подошла к самому важному и последнему определению церковности. Это понятие должно противопоставляться не отказу от храмового благочестия, а наоборот (в противоположность индивидуальному, личному) организацию всей своей жизни и сил подчинить ВСЁ служению этому соборному вселенскому делу Христову, Телу Христову, Богочеловечеству и братьям Христовым по плоти. Это должно быть противоположностью, по которому идут индивидуалисты, отгораживающие себя от мира, не чувствующие его божественного происхождения и религиозного значения. Если же подлинная церковность есть, то храмовое благочестие и жизнь, подчинённая церковному кругу её, никогда не помещает.

И ещё одна оговорка. Мы предостерегаем, от подмены понятий православный или христианин. Здесь вопрос не в принципиальном различии, а в ударении и в оттенке, в личной одарённости верующего и его души. А поэтому путей много и обителей в доме Отца нашего много.

Париж, 1937 г.

Картина мира

Собрание рукописей и редких книг Колумбийского Университета, Нью-Йорк. Дар Софии Борисовны Пиленко, 1955 г.

С точки зрения демократически — обывательской современная картина мира могла бы быть изображена очень обычным образом: некий страшный дракон. Как бы трёхглавый удав, стережёт невинную царевну, попавшую к нему в плен. Все три головы дракона караулят каждое её движение, неотрывно смотрят ей в глаза.

Могущество дракона безмерно: одним движением он может уничтожить царевну, зачаровать её взглядом, задушить кольцами своего тела, уязвить своими отравленными жалами. Царевна же невинна и бессильна. Избавителей у неё нет. Она во власти дракона. Дракон должен вызывать ужас и ненависть, царевна сочувствие и любовь. Но никакая ненависть не может обессилить дракона никакая любовь не может спасти царевну. Разве, что она немного перевоспитается по драконовым способам воспитания, сама, так сказать одраконится. Или разве что драконовы головы начнут пожирать одна другую и так изойдут во вражде сами к себе, в припадке самоистребления. Картина эта, несомненно, похожа на то, что нас окружает, что каждый легко узнает, каковы имена этих трёх голов и кто царевна. Общественные симпатии делятся между драконом и царевной. Одни преклоняются перед могуществом дракона и убеждены, что только он один и может властвовать в мире, другие сочувствуют царевне, и верят, что она рано или поздно освободится от дракона. Мне же кажется нужным как-то разобраться беспристрастно в истинной сути и дракона, и царевны, и может быть вынести нравственный приговор им обоим.

В насилии и крови Великой войны родилось миру до того неведомое чудовище. Идея классовой борьбы и классовой ненависти воплотилась в России в страшное обличие Советской власти.

Характеристика её отчётлива, ясна и не вызывает никаких сомнений. Отрицание человеческой личности, задушение свободы, культ силы, преклонение перед вождём, единое обязательное для всех мирозерцание, борьба со всякими отклонениями от генеральной линии партии или, что одно и то же, вождя — будь то отклонение в каком либо мелком злободневном экономическом вопросе, или в самых существенных вопросах и взглядах на мир, на человеческую судьбу и т. д. Постепенно коммунизм стал не только некой философско-экономической системой, но своеобразной, вульгарной религией, пытающейся иметь своё мнение буквально по отношению ко всему, что существует в жизни. Можно было бы без труда составить точную догматику коммунизма. — да она и составляется в бесчисленных катехизисах. Она обнимает собою всё — отношение к экономике, к истории, к вопросам искусства, к принципам бытия. Правда, для утверждения догматов этой религии не нужно никаких соборов, вождь прокламирует их и тем самым делает их обязательными, а всякое отступление от них тем самым, обязательно воспринимать как недопустимую ересь. Самое замечательное, что и авторы этих отступлений, будучи осуждены авторитетным высказыванием вождя. Сами признают свою еретичность, каются в ней и умоляют о воссоединении с непогрешимой партией. На почве этой своеобразной религиозной психологии естественно вырастает самая неограниченная нетерпимость ко всем инакомыслящим и инаковерующим.

Расцветают систематические религиозные гонения, охватывающие не какое-либо одно религиозное исповедание, а буквально всё. Лагеря набиты представителями всех церквей, всех исповеданий, сект, направлений, мирозерцаний. «Новая вера» осуществляет себя кровью, пытками, мучительством. Она единая тоталитарная истина, а остальное должно быть подвергнуто полному истреблению.

Моральная оценка этого положения вещей не нуждается ни в каких сложных наблюдениях, картина ясна и отвратительна. Гораздо сложнее вопрос о том, откуда русский коммунизм берёт свою силу, чем он внутренне питается, на чём продолжает расти?

Давно уже экономисты и политики, чуть ли не с первых дней существования коммунизма, предрекали его скорую и бесславную гибель. Ни экономические его предприятия, ни исторические условия его существования, ни историческая обстановка — ничто не давало возможности думать, что коммунизм прочно обоснуется в России. Однако, вот уже двадцать лет звучат эти предсказания о его гибели, а на самом деле он продолжает существовать и погибать не собирается. Как это объяснить?

Думается, что в противовес всем мнениям различного рода специалистов правильно будет лишь мнение того, кто подойдёт к вопросу с религиозной точки зрения!

Коммунизм держится лишь тем, что даёт (пусть странное) питание жажде человека иметь целостное, религиозное мирозерцание. Именно своим религиозным пафосом он жив, потому что этот пафос совершенно видоизменяет природные человеческие силы, природное напряжение человеческих мускулов и человеческой воли, и человеческого разума. Он их удесятяряет, он сообщает им творческое начало, которое всегда подобно некоему чуду, преображает законы естества.

Коммунизм и жив этим странным чёрным чудом своим, своей страшной чёрной религией, целостностью, интегральной ненавистью, интегральным растворением человеческой личности в коллективе, интегральной верой в истину, которая прорекается устами вождя — сверхчеловека, пророка из пророков, чёрным и страшной мессией, чёрной и страшной своей церковью. Да воистину, в сознании рядового коммуниста, Россия управляется сейчас сверхчеловеком, во власти которого находится возможность изменять и отменять и законы истории, и законы природы. В России явлён подлинный Человекобог, которого ещё так недавно предрекал нам Достоевский. И естественно, что этот Человекобог вступил в борьбу с Богочеловеком и его Богочеловечеством — со Христом и со Христовой Церковью. Что это?

Быть может, мои слова звучат, для кого-либо слишком мистически, скажем не научно, не отвечают современным данным экономически исторической науки? На это я скажу, что всякая научная гипотеза ценна только тогда, когда жизнь подтверждает сделанные ею предположения. Так вот, все самые научные гипотезы самых отличнейших специалистов в области экономики, политики, истории и т. д., все они в корне опровергнуты жизнью. Не падает коммунизм, да и только! Хотя все сроки прошли и новые сроки проходят. Таким образом, ясно, что об этих бывших научных теориях и гипотезах сейчас говорить не приходится. А вот мистическая и туманная теория, видящая в коммунизме новую страшную веру, и в этом находящая объяснение его сверх природной творческой силе, — эта теория пока жизнью опровергнута не была. И потому заслуживает не только такого, как и другие теории, но гораздо большего внимания, чем они.

Христианские мученики современной России наверное всё понимают и ведут сейчас борьбу «не против крови и не против плоти, а против духов злобы поднебесной». Церковь оказалась перед лицом не какой-то кабинетной доктрины марксизма, скажем, а перед лицом анти-церкви, перед лицом некоего организма духовной природы и потому чрезвычайно могущественного способного отменять и изменять законы материального мира.

Такова первая глава современного дракона.

В хронологическом порядке вторым возник тоталитаризм фашизма. Мне представляется, что идейно и физически это самый слабый из всех тоталитаризмов. И в этой относительной слабости довольно много причин. В первую очередь, фашизм возник не вне традиций, не вне исторических культов и очарований. Муссолини бредит этатизмом древнего Рима, он столько же новатор, сколько и реставратор. А это уже не годится, чтобы иметь подлинную силу. Реставрируемое в своё время было

уничтожено, другими словами существуют силы, которые были сильнее, чем Римская Империя. Её нельзя пропагандировать, как нечто от века несокрушимое. Если она была сокрушена раз, то и второй раз её можно сокрушить. И мы знаем, что её победило. В первую очередь это было конечно христианство, которое разъело, разложило сердцевину, религиозную сущность Римской Империи. Думается, что относительная слабость фашистского этатизма объясняется именно этой уже раз в бывшей истории утратой религиозно-творческого пафоса, окружавшего идол Римской Империи. Италия не может забыть этого исторического прошлого, тем более что перед её глазами, в самом сердце современного языческого Рима, находится всё тот же древний Ватикан, уже раз победивший могущество Рима. И он не молчит, он не мёртв. Он уверен в своём духовном могуществе, в своей религиозной непобедимости и непогрешимости.

Но, оставив в стороне эти специфические особенности фашизма, определим только те основные свойства, которые говорят нам о его принадлежности к тому же самому драконову телу. Мы увидим ту же борьбу против человеческой личности, тот же культ коллектива, ненависть к свободе, обязательность известного стандартного мирозерцания, восприятия основных принципов фашизма чисто догматических, без рассуждений и с благоговением, Наконец и отношение к вождю носит такой же характер, как и в Советской России. Вождь так же непогрешим, так же диктует не только основные принципы обязательного мирозерцания, но и директивы на текущие потребности каждого дня. Сила также заменяет право, вводится в обиход начало насилия. Оговорюсь только (ещё раз), что благодаря некоторым специфическим условиям и типу основного идола этатизма, а также месту, где его культ развивается, все черты общие с коммунизмом кажутся несколько более бледными, не так ясно выражены, притенены. Но, в сущности, между ними никакой принципиальной разницы нет. Можно сказать так: коммунизм строился на обширном пустом месте, и потому по своему усмотрению возводил стены воздвигаемого здания. Для фашизма — было необходимо считаться с развалинами стен, среди которых он строил новые, и они несколько видоизменили его собственный замысел.

Наконец, третий тоталитаризм — религия расы, проповедуемая в современной Германии. В смысле лежащей в основе этой религии идеи надо сказать, что она, безусловно, беднее, партикулярнее и даже провинциальнее идеи коммунизма. Коммунизм может претендовать на некоторый универсализм, на всеобъемлемость своего основного принципа. КОММУНИЗМЫ могут развиваться в различных расах и государствах, не соперничая друг с другом, а наоборот подкрепляя и поддерживая друг друга. Везде есть хижины объявляющие войну дворцам, пролетарии всех стран могут соединиться, лишь выигрывая от этого соединения. В расизме положение противоположное. Перед человеком, принявшим современный расизм, стоят две возможности: или он примет расизм в его германской редакции и вместе с Гитлером и Розенбергом уверует в особую «мессианскую» избранность германской расы, которой должны подчиниться все низшие расы, в том числе и его собственная. Или же он, приняв основной принцип расы, создаёт свою собственную расу-избранницу, которой должны покориться все остальные. Обе эти возможности легко себе представить, да они и в реальности существуют. Но первая из них вряд ли может найти широкое распространение и создать подлинный пафос просто потому, что вряд ли широкие слои любого народа с восторгом согласятся с тем, что они должны быть отданы в рабство какому-то другому, особо «избранному» народу. Вторая же версия расизма обрекает его на распространение в узких пределах одной расы, с вечным и ничем неразрешимым соперничеством с любой другой расой. Тут возможна лишь борьба всех против всех, причём борьба не имеющая в перспективе никакой надежды на победу. Разве только в её процессе все противники будут поголовно истреблены. В этом основная идейная слабость расистских концепций тоталитаризма. И в этом, разумеется, он гораздо провинциальнее, местечковее коммунизма. Но есть в расизме и стороны делающие его во многих отношениях сильнее, чем коммунизм. Он апеллирует не только к внешним интересам человека. Он апеллирует к самой его природе, к его крови, к глубинным, подспудным инстинктам человеческой души, к каким то полузабытым зовам природы. Он органичнее

(как ни странно), я бы сказала он материалистичнее коммунизма, который по сравнению с ним является некой мозговой выдумкой и сам рационалистичен, сух и не почвенен.

Расизм это мистика биологии, это религия космических сил, некий дух выпущенный алхимиком из бутылки и не желающий в эту бутылку возвращаться. В расизме всё время слышатся гулы и стоны «демонов глухонемых». Древний пан воскресает, магическая сила крови подчиняет себе обезглавленное человечество. И магия его чрезвычайно сильна, наркотическая сила отравляет и возбуждает. Можно сказать, что как материал для образования языческой религии, он гораздо богаче коммунизма. А, кроме того, он в противовес коммунизму, открыто признаёт этот религиозный языческий характер. И этим самым можно сказать, что как религия, он гораздо более осуществленен, чем коммунизм, который и до сих пор не может отделаться от скептицизма эпохи просвещения, хотя этот скептицизм чисто внешний, чисто словесный, ничего не меняющий в его подлинной сути. Таков мистический лик расизма. Как же он осуществляет себя в мире? Тут сходство с его братьями по религии тоталитарности, особенно разительно. Кровь, положенная в основу всего, конечно, совершенно не совместима с духовной реальностью личности. Личность управляется — (разве только даётся ей возможность существовать в лице личности вождя), но на самом деле он не личность в нашем смысле слова, а он некое ипостасное проявление всё той же безличной священной германской крови.

Личность упраздняется — свобода также упраздняется перед лицом высшей ценности, влекущей к господству своих избранников судьбы.

Так же, как и в коммунизме, тоталитарность мирозерцания уничтожает возможность существования иных взглядов, уклонения, разногласия, разномыслия... Человек должен мыслить так, как это выгодно для целого, а выгода определяется непогрешимым мнением вождя. Творчество также отменяется, потому что творчество есть продукт свободы, а когда дело идёт о коренных и не отменяемых биологических процессах, то ни свободы, ни творчества не нужно — они сами за себя постоят. Ведётся борьба с иными расами, особенно с объявленной низшей расой — еврейством. Это логично с точки зрения расового отбора. Ведётся борьба с другими религиями, потому что расизм объявлен единой религиозной истиной, а сосуществование двух истин невозможно. Если объединить то общее, что есть в проявлениях этих трёх видов нового язычества, то всё же надо сказать, что им свойственна огромная сила, подлинный пафос, напряжение веры, жертвенная готовность каждого члена их огромного организма отдать себя на благо целого. Волевая потребность не только разрушать, но и строить, некоторая биологическая и органическая направленность.

Все они без предрассудков, без особой склонности к белым перчаткам, все они вдохновенные мясники, желающие раскромсать вселенную.

Говоря об их героях, об их сверхчеловеках, вождях, человекобогах и неожиданно чувствуешь какие то перепевы Ницшевских мотивов с одной стороны, с другой Смердяковского — «всё позволено» и, наконец, магического культа природно-человеческой силы, представителем которого был Рудольф Штейнер. Да! Духов давно старались выпустить из бутылки. Теперь, когда это сделано их назад не загонишь!

Таков передний план картины нарисованной мною в начале.

Дракон с тремя головами наименован. Его облик ясно виден и не возбуждает сомнения.

Но есть на этой картине и ещё одно существо, — это самая невинная царевна, томьящаяся под угрозой его взора.

Под ней, я разумею современную демократию, конечно.

И вот тут мне хочется прямо и честно сказать: всякий — кто так или иначе чувствует себя связанным с демократией, всякий — кто ей чем-либо обязан, всякий — кто в какой бы то ни было

степени верит в её будущее возрождение — просто обязан сейчас без всякого лицемерия, жалости, оглядок на друзей и врагов, совершенно беспощадно провести свой суд над нею. Плоха наша царевна и мало чего стоит, сама виновата, что блуждала без пути, пока не попала в лапы дракона. Не могла не попасть. И более того, не выберется из них, если будет такой как была, потому что нечего противопоставить дракону. Нищета у неё полная.

Мы русские имеем в нашей литературе не только предуказания, касающиеся облика современных человекообразных религий — у Достоевского в «Великом Инквизиторе» или в Шигалёве, у Соловьёва в повести об Антихристе, — но с такой же прозорливой ясностью нам дан и облик современной демократии, особенно сильно и беспощадно у Герцена. Точно она и тогда была такая, какой стала теперь. И недаром Герцен западник и демократ в ужасе отвернулся от неё, недаром стал говорить о ней с такой безграничной горечью.

Самое характерное, мне кажется, в современной демократии это принципиальный отказ от всякого целостного мирозерцания. Давно уже политика стала для неё невозможностью, проводить какие то основные принципы в жизнь, а лишь игрой практических интересов, конкретным учётом сил и выбором компромиссов, давно уже экономика стала существовать самостоятельно от политики, и равенство политическое уживается с чудовищным экономическим неравенством. Особенно характерно сейчас для демократии полный разрыв между словом и делом: в слове до сих пор существует несколько напыщенное декларирование начал свободы, равенства и братства, а в деле царствует неприкрытая власть интересов. Общественная мораль, (также пышно декларируемая) вполне сочетаема с индивидуальной аморальностью. Частная жизнь человека может находиться в кричащем противоречии с его общественной деятельностью. Мирозерцательная целостность просто не нужна и не существует. Её опять таки с успехом заменяют правильно понятые, строго учтённые интересы.

Откуда эта странная рассыпанность демократии, эта раздробленность каждой отдельной личности, этот отказ от всякого объединяющего начала?

Демократия стала существом, не помнящим родства, она отреклась от начал, которые её породили, от христианской культуры, от христианской нравственности, от христианского отношения к человеческой личности и свободе.

И на их место не поставила ничего другого. В демократическом мирозерцании нет никакого корня сейчас, нет никакого центра, оно образовано, как бы на одних придаточных предложениях, а главное предложение утрачено. И эта рассыпанность демократического облика создаёт известный тип человека, у которого, во первых, нет никаких религиозных взглядов, во вторых общественная работа не базируется ни на какой общей и глубокой идее, а личная жизнь существует сама по себе, не объединённая ни с религиозным, ни с общественным призванием. И как каждый отдельный человек в демократии представляет собою механическое соединение случайных и часто противоположных начал, так и общее тело демократии существует, как бы без позвоночника, без станового хребта, и вместе с тем без определённо обозначенных границ.

Отсюда легко понять, что тут по Смердяковски всё позволено. Правда, по другим мотивам, чем в тоталитарных мирозерцаниях, там мне закон не писан, потому что «Я» сам закон. «Я» — высшая мера вещей. Тут вообще нету незыблемых законов, нету никакой меры вещам, всё относительно, всё зыбко, условно, всё поддаётся лишь одному критерию текучих и быстро изменяемых интересов. Всё позволено, потому что всё относительно и не очень то уж и важно. Сегодня заключается союз — таковы интересы сегодняшнего дня, а завтра союзник предаётся, потому что таковы интересы завтрашнего дня. Сегодня проповедуют экономическое равенство, завтра отдают свои голоса укреплению капитализма. Сегодня увлекаются коммунистическим тоталитаризмом, а завтра — тоталитаризмом расистским.

И всё не прочно, всё текуче, всё не имеет никаких твёрдых очертаний. Может быть даже довольно естественно, что при этом отсутствии, каких бы то ни было высших ценностей, оказывается, что высшая ценность — это моё маленькое благополучие. Мой маленький и довольно безобидный эгоизм. В конце концов, во имя чего я должен уступать место под солнцем кому бы то ни было и чему бы, то ни было, если все эти претенденты на место, под солнцем, чрезвычайно относительно и эфемерны? Во имя, каких это идей должен я жертвовать своим благополучием, если давным-давно признана относительность любой идеи? «Мы калужские!» — вовсе не принцип коммунизма, который в своей тоталитарности поглощает любую Калугу, — это принцип вырождающейся больной демократии, и он то сейчас и торжествует во все европейском масштабе. Как отдельный человек говорит «мой счёт в банке исправен, в чём же дело?» — так и целые демократические государства не понимают, «в чём дело», раз у них кое- как концы сведены с концами.

Отсюда естественны все грандиозные предательства, свидетелями которых мы были в течение последних лет!

Отсюда и совершенно старческая, физическая беспомощность и расслабленность. В самом деле, чему тут удивляться? Организм распадается на составные клетки и естественно, что он ничему противостоять не может.

Самое страшное в современной демократии — это её принципиальная беспринципность, отсутствие мужественности, отсутствие всякого творческого начала. Демократия стала синонимом мещанства, обывательщины, бездарности!

Если в тоталитарных миросозерцаниях уместно говорить о рождении новых религий, то в демократиях надо констатировать не только полное отсутствие религии, но даже отсутствие в данный момент способности к религиозному восприятию действительности. Если там введены в игру тёмные демонические силы, то тут царствует лишь одна полная таблица умножения. И это положение вещей, выливается в невозможность создать какое либо настоящее увлечение — в отсутствии пафоса, в отсутствии творческого начала.

Если тоталитаризмы страшны, то демократия просто скучна. На реальной исторической арене сейчас демоны борются с мещанством. И вероятнее всего, что демоны, а не мещане победят. И победа их может быть двойкой: или мещанин будет ими попросту уничтожен, или они его заразят своими демонскими свойствами и он (мещанин) станет сам демоном. Так сказать второго сорта, решить, что с волками жить по волчьи выть.

Вся беда только, что у волков этот вой настоящий, волчий, а у их подражателей настоящего воя получить не может, одно обезьянничество, одно попугайство.

Все естественные силы, наличествующие в современном человечестве, таким образом, не дают возможности, для каких бы то ни было оптимистических выводов. Положение действительно скверное. Час борьбы приближается. Результат её почти предreshён. Не бывало ещё, чтобы религиозное начало любого направления, любой религиозной сущности не побеждало своего без религиозного противника. Не бывало ещё, что бы творчество во имя чего оно не осуществлялось бы, не оказалось сильнее бездарности. Не бывало ещё, чтобы герой, пусть самый жестокий, кровожадный и бесчеловечный, не торжествовал бы над мещанином. Не бывало ещё, чтобы склонность к личному самопожертвованию не стирала бы в прах маленького мещанского эгоизма. Не бывало и не будет, потому что не может быть.

На путях могучего потока новых страшных религий, торжества новых кровожадных идолов — демократия (в том виде, в котором она есть) не плотина. Она может переучивать свои реальные интересы и перераспределять партийные мандаты в парламентах. Она может подражать вождям и применять их методы работы. Она может не выпускать своих золотых запасов за границу и строить аэропланы, выдумывать какие-нибудь удушливые газы... вообще она может делать, что ей угодно

главное то, что на современных путях её существования она не победит. И всего вероятнее, что так оно и будет, что события делают её обречённой. Духовная выхолощенность даёт свои плоды и...

Без религиозное человечество бесславно погибает!

Демон видя, что горница чисто выметена и пуста. Приходит и приводит с собой сильнейших и вселяется в неё. Ведь горница-то действительно пуста. От чего ему не вселиться?

Учитывая всё, взвешивая всё, чему нас учит история, что, мы знаем уже со времён Герцена, что происходит на наших глазах и, кажется, что мы не можем ошибиться в диагнозе. Да собственно и ни для каких надежд места нет в этом природном мире. В потоке взаимного предательства, в потоке маленьких эгоизмов — рассыплется, развеется, распылится сегодняшний мир...

Завтрашний мир принадлежит Дракону.

И единственная искра надежды, которая остаётся в сердце, это надежда на некоторое Чудо!

Бухгалтерия говорит нам, что итоги подведены ею точно, сомнений нет. Ну, а быть может можно существовать и без бухгалтеров и без бухгалтерии, просто сжечь её книги, перепутать все приходы и расходы. Поверить, что в смертный час даже грешникам раскрывается небо, самые нераскаянные каются, немые начинают пророчествовать и слепые видят видения. Только в порядке такого чуда и можно ждать сейчас выхода, только на него и надежда. Человеческому, усталому сердцу трудно надеяться, да ещё на чудо, на нечто небывалое, не учитываемое. Слишком мы привыкли, что даже самые реальные надежды обрываются и гаснут, а тут требуется надеяться на нечто почти призрачное.

А всё же надежда есть. И есть некоторые намёки, только намёки, что может быть она не напрасна.

Если безбожное, аreligiousное человечество (трёх измерений) поймёт, что так жить ни один настоящий организм не может, если оно действительно, до самых своих последних глубин раскается, если оно вернётся в Отчий дом, (из которого ушло проклиная Отца!) если оно вновь поймёт, что перед ним лежит религиозный путь, что оно призвано стать БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, если оно отдаст себя в волю Творца, если оно поймёт ничтожество своих маленьких желаний, благополучий и эгоизмов, если оно наконец, скажет грядущим испытаниям, что это бич Божий (как был Атилла бичём Божиим) и, что оно само виновато в том, что этот бич нужен, — одним словом, если человечество припадёт к своим христианским истокам и обновится или расцветёт новым христианским творчеством и загорится новым христианским огнём, то тогда можно было бы сказать, что даже до самой последней минуты не всё потеряно!

Есть тонкие и еле видимые знаки, что надежда может быть не тщетной. Есть, во-первых, слабые признаки религиозного возрождения, которые охватывают, правда, лишь небольшую часть культурной элиты демократии. Есть, наконец, очень громко и мужественно звучащий голос различных церквей, отстаивающих свою истину против лжеистин новых религий. Есть странное и парадоксальное явление, заключающееся в том, что сегодня христианство не подвергается гонению лишь в странах демократических. Есть залог возрождения — мученическая кровь, испытания исповедников...

Как раньше, так и сейчас — КРОВЬ МУЧЕНИКОВ — «СЕМЯ ХРИСТИАНСТВА». Но всё это только слабые указания. Гораздо, например, громче звучит обратное, гораздо убедительнее улыбка какого-нибудь политического деятеля, экономиста, историка, демократа, или фашиста — всё равно с которой он прочтёт эти или им подобные строки. Для него это некий мистический туман, от которого он с досадой отвернётся. И его не смутит, что вне этого тумана вообще никаких решений нету.

Вопрос стоит так: — или через покаяние и очищение безбожное, человечество вернётся в Отчий дом и засияет эпоха подлинного христианского возрождения, и оно почувствует себя Богочеловечеством, или же на долгие века мы обречены власти зверя, человекобога, новой и страшной идолопоклоннической религии.

Третье не дано. Но вероятнее, что осуществиться второе. — Париж, 1937 год

Христианство (эссе)

«Розовое христианство» — где оно это розовое христианство?

У христианства нет цвета, потому что раскалённая до бела сталь не имеет цвета и на неё даже нельзя смотреть, чтобы его цвет определить.

Христианство, как раскалённая сталь, вонзается в сердце и испепеляет его. И тогда человек вопит: «Готово моё сердце, готово!»

И в этом всё христианство.

Но есть бесчисленные подмены христианства. Есть, например, религия «благоденственного и мирного жития», это как бы гармоничное сочетание правил с бытом. Сердце не испепеляется, а млеет в час богослужения. Свет не слепит, а ласкает. Что же? Может быть, блаженны млеющие, блаженны обласканные, мирные и безмятежные...

Христианство неким огромным болидом упало на нашу планету и расколело её на две части.

Христианство падает в душу каждого человека, каждой нации, каждой эпохи и раскалывает их на две части. Одна часть спокойно продолжает жить как раньше жила, а другая начинает гореть. И эта горящая душа заполняет всё вокруг себя как зараза, как пожар, как поток, как печь огненная.

Раскалённая душа говорит: «Христос меня мучает. Блаженны мучимые Христовой тайной. Блаженно пылающее сердце, потому что оно готово!»

Отсюда всё, и отсюда вытекает так неправильно понимаемое Розановым «во Христе мир прогорк» — отсюда растёт монашество, подлинная аскетика, отсюда все бесчисленные наши кресты, тут и встреча лицом к лицу со смертью, тут Христов Крест, Христова Смерть.

Христианин крестится во Христову смерть.

Христианин венчается со смертью.

Христианин живёт всю жизнь рядом со смертью.

Характеристика нашего времени

Не буду повторять в тысячный раз характеристику нашего времени. Всякому, кто не слеп, очевидна его гибельность. Всякий, кто не глух, слышит подземные раскаты приближающегося землетрясения. Но есть в нашем времени одна черта, утверждение которой может показаться парадоксом, хотя, на первый взгляд, многое противоречиво. Парадокс этот заключается в том, что наше безбожное и не только не христианское, а даже скорее материалистическое, нигилистическое, логицированное время — вместе с тем, оказывается как бы преимущественно христианским и призванным раскрыть и утвердить христианскую тайну в мире. И этот парадокс доказывается не развитием каких-либо христианских направлений, не наличием крупных богословов и не экуменическим движением — а самой сущностью нашей эпохи, с её гибельностью и её обнажённостью.

Какими идилическими кажутся нам прошлые века. Как прочна и неприкосновенна была в них жизнь, уклад, границы государств, экономический строй, образ управления, мышления, стойкость философских систем, неторопливый темп жизни, прочность профессий, налаженность и крепость семей, святость и неприкосновенность частной собственности, мощь церковного организма...

Трёхмерное пространство казалось неразрушимым, а законы природы отрезали все пути чудесам. Прогресс эволюции медленно катил свои возы в гору, к общедоступному счастью, к точно вымеренной справедливости, к расчётливому братству человечества. Эта языческая жизнь зачастую проникала то в грубой, то в утончённой форме и в христианское сознание.

Но вот в наших домах зашатались и упали стены, и за ними оказались не знакомые улицы, к которым мы привыкли, а необъятный пустырь, по которому разгуливают все ветры вселенной. Жизнь оказалась короткой, непрочной и не очень дорого стоящей, а границы государств покоробились и сместились, воздушные замки рухнули, и на человеческую душу нахлынул первобытный хаос. Вместо самоуверенности нашей жизни и верности в судьбу к нам ворвалась смерть. Смерть сделала нас дальнзорче, прозорливее, смерть стёрла все узоры и причудливые рисунки жизни и заменила их простым и единственным рисунком КРЕСТА.

Человечество проснулось и, оглядываясь, с удивлением видит, что оно находится на Голгофе. И Голгофа постепенно становится единственным местом, в котором может находиться человеческая душа, потому что остальное обличено, нереально, призрачно и недостаточно серьёзно.

Эпоха, когда человечество стоит у подножия Креста, эпоха когда человечество дышит страданиями, и когда в каждой человеческой душе образ Божий унижен, задушен, оплёван и распят, — это ли не христианская эпоха!

Бывают времена, когда можно быть глухим и слепым, но сейчас человек не может не слышать и не видеть. Язычество чувствует, как сгорают его рукотворные идола, оно напрягает последние силы и воздвигает новых божков. Наступает грозное утро, кто знает может быть последнее утро в истории человечества, и кто сейчас не проснётся, тому уже не хватит времени... мучительное, пытающее, освобождающее утро. В его свете ясно виден вознесённый над миром Крест. Человек распинается на Кресте. Это ли не христианское время?

Иллюзии сгорают, сгорают языческие боги, и как мал перечень того, что остаётся. Остаётся человеческий путь, крестный путь. Остаётся смерть, жизнь, любовь и честная правда... всё остальное сгорает. И в этот пожар проникают недра нашего существа, выжигая в них языческие навыки и верования.

* * *

В прочном языческом мире вчерашнего дня христианство испытало на себе огромное влияние языческой атмосферы. Веками тянулся медленный процесс, крепкий полуязыческий быт внедрялся в христианскую Церковь, ритуал являлся мёртвым регистратором давно забытых порывов. Но, конечно, дело тут не в постных кулебяках и не в обязательности формально воспринимаемых Таинств. Дело глубже и в гораздо более тонких соблазнах, которые насквозь пронзили христианское сознание, врезались в самый центр христианства, разложили его человеческую сердцевину.

Мне хочется привести самый поражающий пример. Я буду говорить о монашестве. Мне даже совсем не важно упомянуть о фактах полного языческого извращения, которое можно было наблюдать в монашестве, и что истинный смысл его был подменяем самым неприкрашенным и открытым служением миру сему.

Добросовестному и любящему взору ясно, что не этими извращениями определялось монашество. Даже то, что поднимался вопрос о введении в монашеские обеты 4-го не пить (!!!!) — может быть и является знаменем упадочного времени. Хотя по существу не характеризует основного русла монашеской жизни.

Существует довод, когда обвиняют и отвергают возможность в православии иметь активное монашество. Говорят, что православное монашество не активное, а созерцательное. Мне думается, что это неверно! Во всяком случае, это не так, если говорить и применять это к последним векам существования православного монашества. И важно, что неверно такое двучленение монашества, на активное и созерцательное, а что правильнее было бы говорить о трёхчленном делении.

Монашество отрешённое, созерцательное — всегда существовало, но по его пути идут единицы. Только в редкие эпохи огромного напряжения они могут определить собою целое течение (пустынников, столпников, молчальников). Напряжение проходит, огонь гаснет, и продолжают идти этим путём единицы, особо призванные.

Монашество активное, обращённое к миру, в нём в последние века было чрезвычайно мало представителей. Было бы не правильно определять его как некую погруженность в стихию мира и прикосновения к христианской суете. Может быть именно в таком монашестве особенно сильно ощущение, что мир во зле лежит. А какой мир?

Богом созданный, тот мир, который так возлюбил Господь, что отдал Сына своего едиnorodного за грехи этого мира на смертную муку. И может быть это активное монашество, обращённое к миру, идёт по этому пути, потому что любит этот Божий Мир, образ Божий человека, прозревает его в грехе и гное исторической действительности.

Как в созерцательном монашестве, так и в этом, центральная установка на вечность. Преодоление временного, Богообщение или непосредственное подлинное человеко- и мирообщение. И то и другое монашество только тогда достигает своего развития и подлинной высоты, когда ориентировано на Апокалипсис! И на эсхатологию, на грядущее царство Христово, когда чтут не только свою пустыню и пещеру, но и свои странно-приимные дома, когда не боятся произносить молитву первых христиан «Ей, гряди, Господи Иисусе».

Призрачность мира обличена. Томящийся в смертной немощи образ Божий в человеке вызывает пламенную любовь, готовность к сужению и к жертве. Монах отдаёт себя без остатка на эту жертву, отрекается от себя, от стяжания своего, от своего куска, от благополучия, от устройства собственной души, от образа мирской жизни. И в этом глубокий смысл монашеского обета нестяжания. Нельзя думать, что вступая на этот путь человек отказывается только от какой-то мечты материальных богатств, от сребролюбия — это само собою разумеется. Но этого мало, более того, он становится сором для мира, он отрекается от стяжания, стягивания своего духовного мира в единое целое. Он не хочет стяжать своего «Я», и чем выше он, тем более он оказывается слугою и на службе. Его дух, его святая святых, его молитва, весь он до конца хочет быть лишь орудием в руке Божией и кирпичиком в Божием строительстве.

Идолы падают, сгорают, идолы плотской похоти, чревоугодия, сребролюбия, культ своей семьи, своего искусства, творчества, надежды на свой путь и благополучие, благолепие образа жизни — всё обличено. И сам человек — яко трава, дни его — яко цвет... Ничего нет кроме ЛЮБВИ и молитвы «Ей, гряди, Господи, Иисусе».

Я уже говорила, что на подобном фундаменте апокалиптических и общехристианских настроений могут вырастать оба типа монашества, но не они характеризуют монашество последних веков. То, что было в эти последние века, и что, может быть, неокончательно ушло, так это промежуточный тип, — именуемый общежительным монашеством. Он уводит человека от мира с его грехом и скорбями, он окружает человека белыми стенами, но он не доводит его до пустыни, до пещер, до одинокого стояния перед Богом.

Есть одна точная параллель этому монашескому типу в светском мире, — это семья.

Как ни странно, в просторечии мы часто слышим, что перед человеком стоят два пути — семья и монашество. И выходит, что как бы один может подменить другой путь. Но по существу это совершенно неверно.

Монашество упирается в эсхатологию, а семья вырастает на природных и подзаконных корнях материального мира. Обед целомудрия приводит в монашество в подавляющем большинстве своём

людей, не имевших семьи, не строивших личной жизни, не увидевших того, что эта личная жизнь никак с Апокалипсисом не может совпадать.

В основе семьи лежит также чрезвычайно сильный инстинкт, — это завивание гнезда, организация и строительство своей собственной жизни, часто отделённой стенами от мира, замкнутого на крепкие засовы. Человек строит «образ жизни, и печётся не только о её материальном благополучии, но и о нравственной чистоте, о внутреннем благолепии. Семейный человек ограждает свою ячейку от внешней грязи, от всякого засорения, он её охраняет и утверждает в ней своё личное семейно-коллективное, и противопоставляет всякому внешнему «они». И вот странность, люди искренне принимающие обед целомудрия, отказываются от одной части того, что заставляет других строить семью: они не примут плотской любви, ни деторождения, — но они принимают всё другое, что связано с семьёй, с духовной семьёй, с «образом жизни».

Они тоже стремятся за высокие стены, куда бы не проникала грязь и скорбь мира, они строят некую духовную семью и ограждают её и берегут от всякого посягательства, как святыню. Они много работают, и человек отрекается от своих личных выгод во имя общего, он приносит жертвы... минутами трудно поднять руку и возвысить голос на столь прекрасную идею такой монашеской семьи и на благолепие в светлом монастыре. И внутренний голос зовёт нас к нестяжанию в этой области.

Бывают времена, когда сказанное не может быть очевидным и ясным, потому что сам воздух язычествует и соблазняет нас идоловыми чарами!

Хочется возопить: пустите за ваши белые стены беспризорных воришек, разбейте ваш уставной уклад вихрями внешней жизни, унижитесь, опуститесь, умалитесь... И как бы не умалелись и как бы не опускались, разве можете сравниться с умалением, с самоуничтожением Христа! Даже на Голгофе, не на позорном Кресте, а в Вифлеемских яслях, когда Ангелы пели «Слава в вышних Богу». Так примите же обет нестяжания во всей его опустошающей суровости, сожгите всякий уют, даже монастырский, сожгите ваше сердце так, чтобы оно отказалось от уюта, — а тогда скажите — «Готово сердце моё, готово». Да, бывают времена, когда сказанное не может быть очевидным... и сам воздух язычествует.

Но наше-то время, оно действительно христианствует и в самой своей страдающей сущности.

Оно разрушает всё прочное, всё устоявшееся в наших сердцах, освященное веками... и поэтому нам дорогое. Оно помогает нам действительно и до конца принять не «образ жизни», а «безобразие» жизни. Принять не монастырские стены, а полное отсутствие самой тонкой перегородки от мира, от его боли, от устоявшейся жизни. Принимаем смерть и гибель, крест христианства, огонь его, самоотречение и самоотдачу, эсхатологию христианскую, Апокалипсис — принимаем!

В конце скажу, что мне не хотелось бы, чтобы всё сказанное было отнесено исключительно к монашеству и его путям в современном мире. В нём только ярче и резче выступают все противоречия.

Аскетизм

Первые века нашей эры — начала христианства в мире — были ярко окрашены суровым и непреклонным АСКЕТИЗМОМ. Нет сомнения, что торжеству христианства гораздо больше способствовали отшельники, живущие в пустыне (Антоний, Пахомий и др.), чем самое пламенное и пылкое увлечение христианством властителями государств. Ведь они оказывали ему не только всякое покровительство, но и внедряли его мечом и силою государственного аппарата в сердца своих верноподданных.

Получив признание византийских императоров, христианство оделось в парчу и виссон, изнежилось, приспособилось к пышности двора и сильно расцвело во внешних проявлениях: христианском искусстве, постройке соборов, иконостасах, витражах, но одновременно потеряло свой крепкий и жёсткий хребет времён мученичества, разошлось вширь в ущерб глубине. А если бы этой глубины не было, трудно было бы сказать, какие эмпирические формы приняло бы византийское православие. Но эта глубина была! И хранилась она в Нетрейской пустыне, на Синае, около Александрии, под самыми стенами Царьграда.

Отшельничество и монашество оказалось носителями и хранителями суровой и подлинной правды православия!

В то время как при дворе императора роскошествовали и излишествовали, утончались и разлагались, пустыня была наполнена отшельниками, спящими в гробах, питающимися размоченной чечевицей, стоящими ночами на молитве, так что вечером перед их глазами заходило солнце, а утром длинная тень клонилась к закату от восходящего солнца за их спинами.

Столпники, молчальники, борцы со страшными искушениями пустыни, молитвенники за мир, подвижники и аскеты — вот что было спинным хребтом православия. Это они сурово вели церковный корабль, отражали бури ересей, выправляли истинную веру. Именно это пленяло всех, ищущих правды и подвига, налагало неизгладимую печать, полную духовной красоты и истинного величия, на грешную изнеженную, вырождающуюся Византию, которая в брэнном своём величии истлела. А вечное дело православия, находящееся в суровых руках смиренно-неприклонных монахов, продолжало расти! Оно расширилось в мире и особенно, на другой почве... на русской.

Я не буду излагать историю аскетизма и отношение к нему мира. Скажу только, что в известную минуту этот внешний, светский мир, восстал на аскетов. Он обвинил их в том, что во имя Бога, они предают брата своего — человека. И тогда наступил момент, когда человеческая жизнь была выведена из монастырской ограды, из пустыни и киновий, (частично даже из под церковного купола) на широкий путь гуманистического возрождения.

Человек, любовь к человеку, абсолютная и непререкаемая ценность и правда человечества, история и творчество во всех проявлениях человеческого лика в мире — вот, что было объявлено мерой вещей и ключом премудрости.

Мы вернёмся ещё к вопросу о том, предавал ли аскетизм правду мира во имя Божьей правды. А пока остановимся на том, что гуманизм, увлечённый и пленённый «ценностью» человеческого лица, перешёл в другую крайность — он предал правду Божию!

* * *

Если носители духовной правды аскетизма отрекались от мира во имя любви к Богу, то тут мир, в лице гуманизма, отрекался от Бога во имя любви к себе. Можно ли сказать, что утверждение любви к плоти мира и творению, является отрицательным и противоречащим его Творцу? Нет и нисколько.

Даже можно сказать, что высшим проявлением любви к творению и объясняется проникновение в тайну ЕГО творчества. Любовь и творение есть мост к любви и к Творцу.

Но удивительным свойством обладает Истина и не даром она именуется Полнотой.

Часть истины, взятая в отдельности от полноты Истины в забвении и отрицании этой полноты, становится уже не истиной, а ложью. Исчерпывающая полнота заповедей: «Возлюби Бога твоего и возлюби брата своего, как самого себя», — именно в таком двуедином составе и есть Полнота Истины.

Так, если вернуться к Гуманизму, можно сказать о нём, что:

1. Он обвинил Христианство, что оно приняло только первую часть этой полноты Истины, — Гуманизм отрёкся от любви к человеку, творению и Сыну Божию. Этим самым бессознательно умалил свою любовь к Богу — Творцу и Отцу человеческому. А, обвинив, впал в обратный грех.

2. Гуманизм предал любовь к Богу.

3. В творении он перестал ощущать Творца. Этим самым он умалил и творение.

Таков внутренний смысл Гуманизма, но нам важнее остановиться на методе его воздействия. Гуманизм же сам по себе, есть как бы принцип Возрождения — опыт наивный, зачарованный пафосом человеческого самоутверждения. В период Возрождения было слишком много радости, чтобы прочувствовать необходимость глубины и внутренне собраться. В этот период Возрождение не сумело ограничить себя и выковать духовные мускулы.

В то же время Аскетизм в мире перестал существовать в том виде, как он существовал раньше. Но совершенно неожиданно он воскрес и в девятнадцатом веке, получил новое дыхание на русской почве!

Первое воскрешение Аскетизма и утверждение его правды (как противоположность Гуманизму) мы находим у Константина Леонтьева.

Как же понял его Леонтьев? Как он воспринял древнюю аскетичность его пути? Это звучит парадоксально, но он его воспринял так, как его воспринимали гуманисты. То есть Леонтьев заявил, что «любовь к Богу не может ужиться с любовью к человеку. Что любовь к Богу ведёт к проклятию человека, что в этом и есть последняя правда и смысл православия. Всякое же иное Православие — неопределённое и розовое православие, от которого надо избавляться огнём и мечом».

Разница Леонтьева с Гуманизмом состоит не в том, что они по разному определяют значение древнего христианства. Они его определяют одинаково — «как предательство мира во имя любви к Богу».

Разница между ними в том, что они неодинаково оценивают такое отношение к миру!

а) Гуманизм не хочет любви к Богу, предающей человека, и именно на этом основании доходит вплоть до отказа какой либо любви к Богу.

б) Леонтьев, говорит решительное и безоговорочное «ДА» отречению от мира, во имя любви к Богу!

Теоретически он соглашается с определением гуманистов, но и в противовес даёт положительную оценку такому определению. Но самое трагическое в этом то, что он соглашается в этом с основной и всеопределяющей ошибкой Гуманизма (с оценкой, раз и навсегда неправильно понявшей древнюю АСКЕТИКУ). В результате этого непонимания, эта оценка была внушена всему миру.

Итак, базируясь на ложной мысли, что Византийское православие отрекалось во имя Бога от мира, Леонтьев заявляет, что это отречение правильно и обязательно для всякого христианина. А,

заявив это, он становится более византийцем, чем были в этом отношении византийские отцы Церкви и пустынноики. Можно сказать, что он утвердил в себе неправду правды.

А потому, не касаясь известной величины Леонтьева (он был одним из самых страшных явлений русской мысли, закрепляющим и утверждающим Искражение, как подлинность), он многим и навсегда закрыл возможность правильно понять что такое аскетический путь. В противоположность византизма Леонтьева есть точка зрения Розанова, который соглашается, что тёмный лик есть действительно последняя правда христианства, но на этом основании отрицает всё христианство. Розанов по сути есть преломление начального гуманизма. Его неправильная оценка аскетизма вполне совпадает с оценкой гуманистов. Для него Христос — «лицо бесконечной красоты и бесконечной грусти» — но не укладывается в душе Розанова ни эта красота, ни эта грусть. Для Розанова: «Восток, взглянув однажды на Христа, уже навсегда потерял способность по настоящему, по земному радоваться, попросту быть весёлым, спокойным и ровным. Он разбил вдребезги прежние игрушки, земные, недалёкие и пошёл плача, но восторгаясь, по линии этого тёмного, не видного никому луча к великому Источнику своего света». Розанов верит: «Христос открывается только слезам. В тайне слёз христианских содержится главная тайна христианского действия на мир. Ими преобразовало оно историю. Боль мира победила радость мира. — вот это и есть Христианство. И на протяжении веков христианство осуществляло лишь одну задачу: погребение всего мира в Христе».

У Леонтьева и Розанова неоспоримо единое восприятие Лица Христова — тёмное. У обоих, светлая радость жизни живёт на другом берегу, не на христианском, хоть и берега они выбирают разные. Леонтьев стремится на тёмный, Розанов на светлый, но они одинаково понимают их значение.

Эта упорная традиция темного лика, раз и навсегда могла исказить в наших душах правильное понимание дела Христова, если бы вдруг не обнаружилось (там, где нет лика Христова!), на самом дальнем, безбожном, антихристианском берегу некое темное пятно.

Оказалось, что не только Агнец, жертва, казнимый, страдает. Что не только во имя Бога христианство залило мир слезами. Оказалось, что на русской каторге, на всеевропейских чердаках, в нищенстве изгнания, строго блюдут суровый путь аскетики другие люди. Но не во имя любви Христовой!

Произошло небывалое явление. Якобы на почве гуманизма и якобы во имя человечества, но в одной его части — трудового класса (а именно пролетариата), в забвении Бога и отречении от Христа, возродился суровый, аскетический путь.

Каждый верный этому новому пути был обязан:

а) Оставить не только отца и мать свою, но и выводился он из под законов обычной, применявшейся к человеческим слабостям, морали, то есть ему внушалась иная, суровая, классовая мораль!

б) Во имя дела, во имя торжества его, он должен был отречься от всего — включая отречение от своего человеческого лица.

Чердаки мира, проплёванные и прокуренные кабаки всех европейских столиц могли бы много рассказать, как калечились людские души во имя нового безбожного закона. Как истреблялись «предрассудки» в этих душах, как предъявлялись им требования суровой, партийной дисциплины, и как всё подчинялось поискам единой, пусть фальшивой, но жемчужины. Но жемчужины не Царствия небесного, не небесной веси, а веси земной.

Любопытно, что сказал бы Леонтьев об этом, далеко не розовом, — антихристианстве, если бы догадался о его аскетической окрашенности. Воистину, антихрист должен быть великим аскетом и носить власяницу, потому что это то, что покоряет и пленяет мир.

А миру вновь предписывались слёзы! Но уже не слёзы христианства. Мир вновь отрекался от своих культурных ценностей, шёл на некое соглашение, но не во имя Бога, а во имя торжествующего в отдалённых веках безликого, сурового коллектива (в будущем коллективизма). Слишком события развивались стремительно, а потому не только Леонтьев, но и Розанов не успели задуматься о том, что это всё означает. Ну, а мы то видим! Мы можем понять. Мы обязаны найти и исправить ошибки.

И, прежде всего, нам нужно дать себе отчёт — что такое христианский аскетический путь? Вероятно, каждый сразу представит себе измождённые лики святых на византийских иконах, их бестелесность, мрачность и тёмноту, духоту катакомб, какое то не прочувствованное проклятие миру и радостям его. Я утверждаю, что всё это совершенно не соответствует тому, как это было. А доказать я это могу на основании творений Исаака Сирина — одного из самых замечательных отцов Церкви, который главным образом обращался к монахам, молчальникам и аскетам. И начну я с самых страшных текстов Исаака Сирина, от которых вздрогнуло бы не только «розовое» сердце Розанова, но и «чёрное» сердце Леонтьева.

Вот они: «Если милостыня или любовь, или сердоболие, или что-либо почитаемое, сделанное для Бога, препятствует твоему безмолвию, обращает око твоё на мир, ввергает тебя в беспокойство, помрачает памятование о Боге, прерывает молитву твою, производит в тебе смятение и неустройство помыслов, делают, что перестаёшь заниматься божественным чтением, оставляешь это оружие, избавляющее от парения ума, потребляет осторожность твою, производит, что бы в дотоле связан, начинаешь ходить свободен и, вступив в уединение, возвращаешься в общество людей, пробуждают на тебя погребенные страсти, разрешают воздержание чувств твоих, воскрешают для мира тебя умершего миру, от ангельского деланья, о котором у тебя единственная забота, низводят тебя и поставляют на стороне мирян, — то да погибнет такая правда».

Этими словами страшное не исчерпывается. Дальше: «Дивлюсь тем, которые смущают себя в деле безмолвия, чтобы других успокоить в телесном»...

«Прекрасен путь любви, прекрасно дело милосердия ради Бога, но ради Бога не хочу этого». «Остановись, отец, — сказал один монах, — ради Бога спешу за тобою». И тот ответил: «А я ради Бога бегу от тебя».

И вот, как бы исчерпывающее объяснение к такому отношению: «Мир есть блудница, которая взирающих на неё с вожделением, красою её привлекает и любовью к себе. И тому, кто хоть отчасти возобладал любовью к миру, кто опутан им, тот не сможет выйти из рук его, пока мир не лишит его жизни. И, когда мир совлечёт с человека всё и в день смерти вынесет его из дому его, тогда узнает человек, что мир подлинно льстец и обманщик».

И поэтому: «Хочешь ли по Евангельской проповеди приобрести в душе своей любовь к ближнему? Удались от него, и тогда воротится к тебе пламень любви к нему, и радоваться будешь при лицезрении его, как при видении светлого ангела». Что это? Уж не наглядная ли проповедь любви к дальнему, в ущерб к ближнему? Тем более, что Арсений говорил: «Богу известно, что люблю вас, но не могу быть и с Богом и с людьми». И всё распенено.

Вот, например: «Творящие знамения и чудеса в мире не сравнивай с безмолвствующим подвигом. Бездейственность безмолвия возлюби паче нежели насыщения алчущего в мире и обращение многих народов к поклонению Богу. Лучше тебе самого себя разрешить от уз греха, нежели рабов освободить от рабства... Каждый от остроты ума своего подобно реке источает учения. Полезнее позаботиться о душе своей, нежели воскрешать умерших».

Я чувствую, как от этих слов содрогается каждое гуманистическое сердце. Признаюсь, что моё сердце тоже содрогается и не верит, не допускает, что это так. Я ищу ключа к иному разумению этих слов. И вот он: «Когда слышишь об удалении от мира, об оставлении его, о чистоте от всего, что в мире, тогда необходимо сначала понять и узнать, по понятиям не простонародным, а чисто разумным, что означает само слово МИР. Из каких различий составлено это наименование. И тогда ты будешь в состоянии узнать о своей душе больше, как далека она от МИРА и что примешено к ней от этого МИРА. Слово МИР, есть имя собирательное, если человек не узнал прежде какими частями (членами) своего «Я» он далёк от МИРА, а какими связан, то ему многое будет трудно познать. Есть люди, которые двумя или тремя членами отрешены от мира, и подумали о себе, что стали они чуждыми для мира в своём житии, только потому, что не уразумели и не усмотрели.

Как это произошло, что только две их части умерли в МИРУ?

По умозрительному исследованию МИРОМ называется и состав собирательного имени, объёмлющего собой отдельно взятые страсти.

И когда хотим наименовать страсти, называем их миром, а когда хотим различить их по различию наименований, то называем их страстями. Где прекращаются страсти, там и мир возникает в своей преемственности.

Суть самой страсти заключается в следующем:

Приверженность к богатству, что приводит к накопительству вещей.

Телесное наслаждение, от чего возникает страсть супружества.

Тщеславие, от чего рождается зависть, а также власть начальствования, надменность и благолепие перед властью.

Желание наряжаться приводит к поиску славы, заискиванию и стремлению понравиться, что может стать причиной злоискательства и страха за тело.

Можно продолжить перечисление страстей. Но хочу сказать, что там, где страсть прекращает своё течение, там и мир умирает. А ты присмотри к себе и пойми, какими из сих частей живёшь в этом мире, а какими умер к Богу.

Короче: Мир есть плотское житие в мудровании плоти».

И приняв тайну этого ключа, легко поймёшь такую молитву:

«Сподоби мя, Господи, действительно быть мёртвым для собеседования с миром сим. Потому, что не могу приобрести любовь к человеку те, кто любят мир сей». Тут резко противопоставляется любовь к человеку и любовь к миру сему. А у отрекшихся от мира сего, любовь к человеку приобретает иное значение и иной характер.

Приведу тексты Исаака Сирина. Они говорят нам о подлинной любви к человеку.

1. «Кто достиг любви Божией, тот не желает уже снова здесь пребывать, потому что любовь уничтожает страх. И я, возлюбленные мои, поелику вдался в юродство, вот и не могу сохранить тайны в молчании и делюсь неосмысленным для пользы братии, потому как это есть истинная любовь. Она не может содержать, что-либо в тайне от возлюбленных своих. Когда понял я это, персты мои неоднократно не успевали следовать по хартии, и не мог я сохранить терпение от удовольствия, которое вторгалось в сердце моё и заставляло умолкнуть чувства. Впрочем, блажен, у кого помышления всегда о Боге, кто удержался от мирского. В любви не печаль принять тяжкую смерть за любящих.

Потому что, когда из любви к Богу желаешь свершать какое-либо дело, пределом желания сего поставь смерть».

Не правда ли, что в этих словах чувствуется огненная, раскалённая любовь, а вот и её точное определение:

2. «Что такое сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всём творении, о всех человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари, при воспоминаниях о них и при воззрениях на них, очи человека источают слёзы. А всё от великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умиляется сердце его и не может вынести, слышать, видеть ни вреда, ни малой печали претерпевших тварей. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред — ежечасно со слезами приносим молитву, чтобы сохранились они и были помилованы. Ровно также и об естестве пресмыкающихся молимся с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу».

Что можно сказать ещё более? Как неуместно после этих слов говорить о пути тёмных ликом. И может быть ещё неуместнее говорить о розовом христианстве. Огненнозряче — белое, сияющее лицо открывает нам Исаак Сирийский в обращении своём к МИРУ. И далее:

3. «Достигших совершенства признак таков: если десятикратно в день преданные на сожжение за любовь к людям, не удовлетворяются сим, как Моисей сказал Богу — Аще убо оставиши им грех — остави. Аще убо нет — то изгладь мя из книги, в ниже вписан есмь» (Исход XXXIII-32).

И как говорит блаженный Павел: «Я желал бы сам быть отлучён от Христа по братии моей» (Рим, IX-3). И прочие Апостолы за любовь к жизни человеков приняли смерть во всяких видах её».

4. «По любви к твари, Сына Своего предал Бог на крестную смерть, не потому что не мог искупить нас иным образом, но чтобы научить нас этим преизобилующей любви своей. А если бы у Него было что более драгоценное и то дал бы нам, чтобы сим приобрести себе род наш. И не благоволил сместить свободу нашу, но благоволил, чтобы любовью собственного сердца нашего приблизились мы к Нему. И домогаются Святые, сего признака — уподобляться Богу совершенством любви к ближнему».

5. «Расскажите об авве Агафоне, - будто сказал он: Желал бы я найти прокажённого и взять у него тело его и дать ему своё. Подобное и делал авва Агафон, паче всех уважавших безмолвие и молчание: сей чудный муж во время большого торга пришёл продать рукоделие и на торжище нашёл одного больного странника, нанял для него дом и остался с ним. Работал своими руками и что получал за труд, всё на него тратил. Прислуживал ему шесть месяцев, пока больной не выздоровел».

6. «Вторая заповедь — человеколюбие. Требуется это двойственности естества, чтобы попечение о делании ума было сугубое, т. е., что исполняем в сознании, то подобным образом желаем исполнить и телесно. И заповедь, совершаемая в делах, требует совершения и в сознании.

А там, где человеку нет возможности видимо и телесно совершать любви к ближнему, там достаточно перед Богом излить любовь к ближнему нашему».

7. «Благотворением и честью уравнивай всех людей. Будет ли кто иудей или неверный, тем паче если убийца. Ведь все мы братья одной породы и от истины заблудились по неведению её. Люби грешников, но ненавидь их дела, и не пренебрегай грешниками за недостатки их, чтобы самому не быть искушённым в том же, в чём искусились они».

8. " Кто при памятовании о Боге уважает всякого человека, тот по мановению Божию. В тайне приобретает себе помощь у всякого человека. Любовь не знает стыда, потому что не умеет придавать членам вид благочиния. Любви естественно не стыдиться и забывать меру свою. Блажен, кто нашёл любовь — пристань великой радости».

9. «Христос умер за грешных, а не за праведных. Великое дело печалиться о людях злых и паче праведных благодетельствовать грешным.

Будь дружен со всеми людьми, а мыслью своей пребывай один.

Если не можешь взять на себя грехов грешника и понести наказание и стыд за него, то будь, по крайней мере, терпелив и не стыди его».

Из приведённых мной отрывочных текстов Исаака Сирина, мы видим, что об них может споткнуться самый пламенный, самый крылатый гуманизм. Какую иную высшую меру любви к брату своему можно найти и противопоставить этой огненной любви.

Но есть коренная разница в любви гуманистической, вскормленной на почве римского права, и любви христианской, питающейся Источником любви. Разница эта чувствуется из соотношений милости и правды.

Вот ещё несколько заповедей Исаака Сирина. Они важны для понимания милосердия.

«Если милостивый не бывает выше правды, то он не милостив. Милостивый не только даёт людям милостыню из своего собственного, но и радостью терпит от других неправду и милует их. А когда победит правду милостыней, тогда венчается не подзаконным венцом Праведников, а Евангельским венцом Совершенных.

Милосердие и правосудие в одной душе, это тоже, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам.

Милосердие противоположно правосудию. Потому как правосудие есть уравнение точной меры, того, что каждому отмерено, чего он достиг при воздаянии, и не допускает отклонения в разные стороны или лицепрятия.

А милосердие есть печаль, возбуждаемая милостью, а потому ко всему сострадательно преклоняется. Кто достоин худого с ней обращения, тому не воздаёт злом, а кто достоин доброго воздаяния, того преисполняет с избытком. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Как песок не выдерживает равновесия с большим куском золота, так и требования правосудия выдерживают равновесие с милосердием Божиим.

Что горсть песку, брошенной в великое море — тоже грехопадение всякой плоти, в сравнении с Божиим Промыслом и Божией милостью».

Как трудно, что-либо добавить к этим словам! Несомненно, и очевидно, что они свидетельствуют об опытном приятии и изживании второй заповеди — человеколюбия. И в этом отношении являются недостижимым образцом для человеколюбцев всех времён.

Хочу отметить ещё одну своеобразную черту в творениях Исаака Сирина. Это отношение к человеческому творчеству, всегда благодатному и подлинному. Если кто хочет найти точное, высоко лирическое описание психологического процесса творчества, то это можно найти в словах Исаака Сирина о молитве.

Сходство в описании процесса настолько несомненно, что приходится говорить о молитве, как о вершине творческого процесса в человеческой душе. И не один раз, а часто и по различным поводам возвращается Исаак Сирин к этой теме.

И молящийся не знает истощения. Он говорит: «Иногда стихи делаются сладостными в устах, и стихословие одного стиха в молитве несчетно продолжается, не позволяя переходить к другому стиху. И тогда молящийся не знает истощения.

Иногда же от молитвы рождается некое созерцание и прерывает устную молитву, и тогда молящийся цепенеет телом».

«Когда среди воздержания чувств от всякой встречи осенит тебя сила безмолвия, тогда ты встретишь сначала радость беспричинную, которая овладеет всей твоей душой. А потом отверзятся очи твои. Чтобы по мере очищения твоего ты увидел крепость твари Божией и красоту создания.

Неощутимо, во всё тело входит некое наслаждение и радость, и плотский язык не может выразить этого, а всё земное будет казаться прахом и тщетою.

В час молитвы истекающее наслаждение, а иногда во время чтения, вследствие непрестанного занятия и продолжительности мысли, — согревает ум. И последнее чаще всего бывает многократно и по ночам. А когда найдёт на человека это услаждение, бьющееся во всём теле, тогда, в этот час он думает, что и Царствие небесное не что иное, как это же самое.

Когда предстанешь в молитве перед Богом, сделайся в помыслах своих как бы муравьем, как пресмыкающимся на земле, как бы пиявицей или как неумствующим ребёнком.

Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к нему.

Когда душа твоя приблизится к тому, чтобы выйти из тьмы, вот что будет этим признаком:

Сердце у тебя горит, и как огонь распалется день и ночь, а потом целый мир вменяешь ты за умет, и пепел пламенеющих помыслов непрестанно возбуждаются в душе твоей. Внезапно в тебе возникает источник слёз, как поток, текущих без принуждения и примешивающихся ко всякому делу. И когда ты увидишь это в душе своей, будь благонадёжен, потому что переплыл ты море.

Любовь к Богу естественно горяча, и когда падает на кого без меры, делает ту душу восторженной. Поэтому сердце, ощутившее любовь сию, не может выносить и вмещать её, но по мере силы вошедшей в него любви, происходят в нём необыкновенные изменения.

Вот ясные признаки сей любви:

Лицо у человека делается огненным и радостным, а тело его согревается. Отступает от него страх и стыд, а сам он делается восторженным и как бы изумлённым. Страшную смерть почитает радостью. Созерцание его ума не допускает какого-либо пресечение помышлений о небесном... и в отсутствии, незримый никем, беседует, как на яву.

Итак — человек и любовь к нему, у Исаака Сирина, есть вершина человеческого творчества и является краеугольным камнем.

Вот его изумительные слова о Свободе:

«Можно с уверенностью сказать, что свобода воли приводит в движение наши чувства и всякую свершаемую добродетель, да и всякий чин молитв. И происходит это и в теле, и в мыслях, а даже в уме, который есть царь наших страстей. Когда же дух возгосподствует над умом, этим домостроителем чувств и помыслов — тогда и ум наш подчиниться и станет путеводиться духом.

В веке несовершенном нет совершенной Свободы.

Остерегайся своей собственной свободы, которая может привести к лукавому рабству.

Остерегайся утешения, предшествующего брани.

Остерегайся ведения, предшествующего искушениям. И, что чаще всего бывает, — желания встречи прежде свершения покаяния.

Проси Досточтимого и Дающего без зависти, чтобы за мудрое хотение принять от него и честь».

После всего написанного Исааком Сириным можно ли говорить, что он учит нас только творческой крылатой радости, что путь, на который он нас зовёт, лишён камней и терний?

Конечно нет. Он учит нас трудностям этого пути, много раз указывает на неизбежность поражений и искушений, которые ждут нас, и зовет дальше, к цели — радости и к подвигу на этом пути. Он говорит: «...путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходит на него, живя прохладно. О таком прохладном пути мы знаем, где он заканчивается. Богу не угодно, чтобы беспечным был тот, кто ему предан всем сердцем».

И на этом пути неизбежны искушения, о которых он нас предупреждает: «...от искушений человек приобретает душу одинокую и беззащитную, сердце омертвевшее и смиренное. В нас растворяются и утешения, и поражения, свет и тьма, брань и помощь, — короче сказать, — теснота и пространство. Нужно терпеть, потому что Терпение есть мать утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая широтой сердца. Один смирен по страху Божию, другой смирен по радости. И смиренного по страху Божию сопровождают скромность, благочиние чувств и сокрушённое сердце. А смиренного по радости сопровождает великая простота, сердце возрастающее и неудержимое!»

Я нарочно заканчиваю этим текстом, словами Исаака Сирина, потому что и в нём есть ключ к уразумению аскетизма. А именно, великая простота сердца, которое неудержимо в любви и разрастается от неё. Трудный путь, о котором говорит Исаака Сирин, кроется в отречении от «мира сего», для подвига стяжания мира Божьего и раскрытия своего сердца. Я не думаю, что все приведённые мною слова Исаака Сирина, требуют подробных комментариев. Вернувшись к началу моего эссе, эти слова совершенно опровергают установившийся предрассудок о «тёмном лике», в равной мере как и «розового христианства».

В словах Исаака Сирина есть не только мера и гармония, достигнутая полнота и правильное соотношение двух заповедей, но и: Мир в Боге и Бог в Мире. И никакими силами не оторваться от аскетического пути мирского делания, по учению Исаака Сирина. И только в любви к человеку, и в сердце милостивом открывается божественное наслаждение.

Я думаю, что не будет заблуждением сказать, что в области русского религиозного пути особенно сильно утвердилось начало творение мира. Не мира сего, а Мира Божьего. А русский религиозный путь именно так и раскрывается.

Русская мысль всегда стремилась увидеть в деле человеческом дело Божье, осмыслить творение Мира, как от Бога завещанную задачу. Положительных доказательств такого понимания русской религиозной задачи не счесть, но, наряду с положительными, существуют и доказательства отрицательные.

Несмотря на искажения и отходы от первоначальной религиозной заданности, русский дух никогда не изменял верности образу Божьему в творениях. Бывало, что Богу изменял, но образу божьему оставался верен всегда. Именно на этом построен знаменитый парадокс Соловьёва: «Человек произошёл от обезьяны, а потому положил душу свою за други своя».

А если повернуться к нашему гуманизму, то он растворялся в религиозном тоне и Хомякова, и Достоевского, и Соловьёва, которые были гуманистами. Они преображали западный, ущербный гуманизм, лишённый Бога, в нечто иное, в веру в человечество, живущее в Боге, и в Нём открывающее себя.

Я здесь привожу примеры текстов Исаака Сирина, и так подробно пишу о современном гуманизме и аскетизме, чтобы наглядно показать, что развилось в России за последние десятилетия. А именно — наглядное опровержение всего сказанного: т. е. развился и раскрылся русский коммунизм. В нём нет ни любовного притяжения мира, ни творческого пути, ни трепета божественного, ни раскаяния, ни Бога, а есть одно искушение и грех, который своей нечеловеческой машиной дробит кости и души

людей для вящей славы абстрактных идей. В нём, в коммунизме, и есть тёмный лик своего, коммунистического аскетизма, стальной хребет изощрённой воли, измождённая плоть и разодранные ризы. Только в этом и кроется его победа, объяснение того, как мёртвая форма (и формула) могла овладеть жизнью. К сожалению, для всех сила русского аскетического коммунизма кроется в том, что на Западе ему ничего не противостоит, нет на сегодня никакого «огненного, творческого, положительного учения». Идеи стали расплывчатыми, туманными, не раскалёнными, а студенистыми и охлаждающими душу.

И если, случайно, кто-то, и думает сегодня о необходимости оцерковлении жизни, надеется зажечь в душах огонь христианства, то:

Что это означает? Что это предвещает?

Это предвещает огненный расцвет любви в двух её ипостасях — любви к Богу и любви к Миру. И тогда можно было бы радоваться и надеется... но можно ли сегодня, при рождении коммунистического аскетизма сказать — «Ныне отпускаеши?» Нет не можем. Всё в гадании, в снах, в надеждах. Грядущее оцерковление жизни будет, конечно, осуществляться, но через другую аскетику, которая должна быть радостна! Она будет пронизана напряжёнными молитвами, омыта благодатными слезами.

И ни одно из самых страшных предупреждений Исаака Сирина, о трудностях этого аскетического пути, не окажется преувеличением. И ни одно его огненное слово о «сладости достижения» тоже не будет преувеличением.

И не тёмный лик и не розовое христианство сулит нам грядущее время.

Лик будет огненным, а христианское делание белым, напряжение испепеляющим, и стяжаемая благодать окрыляющей!

Только так можно мыслить грядущее Православие на Руси.

Только так поглотиться без остатка растленный аскетический коммунизм, и возродятся души в золотых латах воинов Христовых.